



Константин Симонов

Мы не увидимся с тобой

ФТМ



Константин Михайлович Симонов
Мы не увидимся с тобой...
Серия «Из записок Лопатина», книга 3

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=183345
Мы не увидимся с тобой...: ФТМ; Москва; 2017

Аннотация

«Дочь приехала к Лопатину в госпиталь, в Тимирязевку, когда все опасное было уже позади. Да и вообще все самое опасное было там, в армейском госпитале, под Шепетовкой, где он лежал первые две недели после ранения. А когда его перевезли сюда, в Москву, он уже был вполне жилец на этом свете...»

Содержание

1	4
2	17
3	26
4	37
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Константин Симонов

Мы не увидимся с тобой...

1

Дочь приехала к Лопатину в госпиталь, в Тимирязевку, когда все опасное было уже позади. Да и вообще все самое опасное было там, в армейском госпитале, под Шепетовкой, где он лежал первые две недели после ранения. А когда его перевезли сюда, в Москву, он уже был вполне жилец на этом свете.

Сюда, в одну из офицерских палат Тимирязевки, дочь привез Гурский. Обычно он вырывался из редакции накоротке через два дня на третий, чаще при всем желании не выходило, и Лопатин удивился его появлению сегодня, второй день подряд.

— Что вы там, забастовку, что ли, редактору объявили? — спросил Лопатин, увидев Гурского в халате, нацепленном на одно плечо поверх синей редакционной спецовки, в свою очередь, надетой поверх его любимого рыженького пижонского костюмчика.

— Как себя ч-чувствуешь? — продолжая стоять в дверях, спросил Гурский. — П-почему сегодня лежишь, а не ходишь?

— Потому что вчера им опять не понравилась моя плевра.

И лечащий дружески посоветовал полежать впритык до комиссии, а то не выпишут.

– Так что появление п-прибывшей издалека особы женского пола не подорвет твоё п-пошатнувшееся?

«Неужели она так-таки явилась в Москву и он приволок ее сюда?» – подумал Лопатин о своей бывшей жене и сказал, что его здоровье теперь может выдержать все, что угодно.

– Тем более что я п-привез совсем не то, что ты п-подумал, – усмехнулся Гурский и, приотворив дверь и оборотясь назад в коридор, сказал: – Он в п-полном п-порядке, заходи.

В палату вошла дочь – длинная, широкоплечая, неузнаваемая, похожая на себя прежнюю только своим прежним детским лицом – больше ровно ничем. Шагнула в дверь, на секунду остановилась, перемахнула палату своими голенастыми ногами и, затормозив на полном ходу, обхватила отца руками не за плечи, а сзади, под подушкой, осторожно. И, почувствовав ее осторожность, Лопатин вспомнил, что она уже второй год ходит на дежурства ночной санитаркой в госпиталь там у себя, в Омске, поэтому и обняла через подушку и боится прижаться, только, тычется губами в щеки.

– Не бойся, как бы сама не запищала! – сказал он, крепко прихватывая ее за плечи и с удовольствием чувствуя, что он уже почти здоров и руки у него все такие же сильные, какими она помнит их с детства.

– Не запищу, – счастливо сказала она, оторвалась и посмотрела на него своими зелеными круглыми материнскими

глазами на детском лице. И все-таки нет, не таком уже детском, каким оно было два года назад, когда она провожала его под Харьков. Лицо стало шире и заострилось в скулах, и губы стали шире – уже не детские, а женские губы.

«Большая, совсем, совсем большая девочка!» – подумал Лопатин.

Продолжая глядеть на него, она несколько раз подряд моргнула, но не заплакала.

– Не д-дочь, а кремень! – сказал Гурский, подсевший на табуретку с другой стороны койки. – У меня, старого циника, п-понимаешь, очки вспотели, а она не п-плачет.

Он снял очки и стал протирать их носовым платком, – кто его знает, шутил или серьезно, с ним никогда не знаешь до конца.

– А я никогда не плачу, – сказала Нина с вызовом в голосе. И, смутившись, добавила: – Больше никогда не плачу. – Вспомнила, наверное, как тогда, в сорок втором, уткнулась отцу в шинель и зарыдала при том же самом Гурском, которому сейчас сказала, что никогда не плачет.

– В общем, близко к истине, – сказал Лопатин, глядя в неизвестно как попавшие сюда вдруг из Омска зеленые круглые глаза дочери и вспоминая обильные и незатруднительные слезы ее матери.

– Кто тебя привез?

Лопатин повыше подоткнул под себя подушки и сел на кровати.

– Сюда – Борис Александрович, – сказала Нина, поворачиваясь к Гурскому.

– Не Борис Александрович, а дядя Боря. Мы с т-тобой договорились об этом всего д-два года назад, не так давно, чтоб уже забыть.

Она улыбнулась. И Лопатин улыбнулся вместе с ней, поймав, что в ее семнадцать – пятнадцать – это очень давно.

– Сюда д-доставил я, а в Москву наш с тобой редактор, – сказал Гурский. – Вызвал меня в кабинет час назад и сказал: – Г-гурский, сегодня каким-то поездом должна приехать из Омска дочь Лоп-патина. Я ее вызвал, и ее отправили. Но я п-поте-рял листок, где записан этот поезд. Найдите ее и отвезите к Лопатину. Но при этом попомните, что за вами к двадцати часам п-передовая. Но не успел я выйти от него, как мне п-позво-нил вахтер, что меня ждет внизу какая-то б-ба-рышня. А поскольку своим б-барышням я кат-те-горически запретил переступать п-порог редакции, я сразу п-понял, что это твоя дочь и у нее хватило ума самой добраться до редакции.

– Я бы и госпиталь сама нашла, – сказала Нина.

– Этого я уже не доп-пустил, и – вот она перед тобой. Вы поговорите, а я п-перекурю в коридоре. Тем более что мне полезно подумать над п-пере-довой. Такие вещи он никогда не забывает, это не бумажка с п-поездами.

Гурский оглядел палату, спавшего, завернувшись с головой в одеяло, левого соседа Лопатина и сидевшего в халате

на своей койке правого соседа, с интересом слушавшего их разговор.

– Майор; будь человеком, п-пойдем покурим вместе мой «Казбек», если к-курящий.

– Курящий, но капитан, – поднимаясь с койки, сказал сосед справа.

– Ну так будешь майором! В таких случаях важно не ошиб-биться в п-противоположную сторону.

Они вышли.

– Этот отсыпается за три года войны, – кивнув на спящего соседа, сказал Лопатин, – железа набрал в себя за троих, а нервы так и не расшатал. Абсолютно невредимы.

– Я сама, когда дежурила, удивлялась, как некоторые спят. Одни совсем не могут спать, а другие спят и спят, – сказала Нина.

– И я, несмотря на боли, сначала все спал. Как объясняли врачи – от потери крови.

– Я знаю. А какие боли, отчего?

– Отчего боли бывают? Оттого, что болит.

Он хотел отшутиться, но она строго прервала его.

– Папа, не говори со мной, как с мамой! У лечащего врача спрошу, если сам не объяснишь. Расскажи все сначала.

Ее слишком уж требовательная серьезность чуть не заставила его улыбнуться.

– Ладно, сначала так сначала! Но чтоб не повторяться: что и от кого ты уже знаешь?

– Ничего я ни от кого не знаю. Я же прямо с поезда, – сказала она укоризненно.

– А Гурский? – спросил он, подавив в себе желание погладить ее по волосам.

– Твой Гурский только шутит: «Сейчас увидишь своего отца-молодца. Он в п-полном п-порядочке, и все тебе лично д-доложит». – Она сердито передразнила Гурского, но не выдержала и улыбнулась тому, как это хорошо у нее вышло. – Я только знаю наизусть твою телеграмму: «Получил сквозное пулевое грудь переправлен Москву всякая опасность миновала. Не верь никаким болтовням. Отец». Так? – спросила она, выпалив наизусть телеграмму.

– Так. И цени, что написал как взрослой, прямо тебе, а не тетке.

– И правильно. И хорошо, что я без нее получила. Я потом два дня ее готовила.

– Сдала она? Сильно? – с тревогой спросил Лопатин, помнивший краеугольный характер своей старшей сестры и не представлявший, чтоб ее нужно было к чему-нибудь готовить.

– А что ты думаешь? – горько, по-взрослому, сказала Нина. – Конечно, сдала. Знаешь, как сейчас учителям?

– Догадываюсь.

– У нее в классе, где она классной руководительницей, больше чем у половины уже отцов нет. А она двадцать шестой год в этой школе и все считает и считает, скольких ее

бывших учеников убили. Она почти про всех знает, ей говорят. Недавно пришла домой и заплакала – из-за какого-то Виктора Подбельского, что его убили в сорок пять лет, что он второгодник, из самого ее первого, после революций, выпуска, что у него уже внуки. А потом перестала плакать и говорит: «Теперь мне сто лет». Я говорю: «Тетя Аня, какие же вам сто лет?» – «Нет, – говорит, – теперь, после этого, мне сто лет. И я больше жить не хочу. Буду жить, потому что нужно, но не хочу». И Андрей Ильич, – вздохнула Нина и остановилась.

– Что Андрей Ильич? – спросил Лопатин. Андрей Ильич был муж его старшей сестры.

– По-моему, он потихоньку умирает, – сказала Нина. – Но по нему не так заметно, он все время больной, как я приехала. А тетя Аня, она, знаешь, в этом году вдруг... – Она подыскивал, как бы получше объяснять отцу его «вдруг», а он все равно не мог поверить, что сестра стала другой, чем та, к которой он привык.

Дочь замолчала и выжидающе посмотрела на него. И он рассказал ей о том, что с ним было, помня, что Гурский курит и ждет в коридоре.

История с ним вышла довольно глупая, хотя и не такая уж редкая для этой весны. Отправив во время осады Тарнополя две корреспонденции по телеграфу, он после взятия города был вызван в редакцию и поехал в Москву с третьей, на черنو написанной статьей в полевой сумке. Глупость состо-

или в том, что, боясь напороться на бандеровцев, он не рискнул ехать глядя на ночь с другими корреспондентами из-под Тарнополя в штаб фронта, — перенес на утро. Корреспонденты накануне ночью проехали благополучно, а он среди бела дня нарвался на обстрел в лесу. Незнакомый шофер, которого ему дали, чтоб добраться до штаба фронта, вместо того чтобы гнать дальше, маханул из «виллиса» в кювет, а он, еще не успев схватиться за баранку, получил пулю в грудь. И на том бы и окончил свои дни, если бы не шедший сзади «студебеккер» с какой-то командой. Солдаты открыли огонь из автоматов по лесу. Бандеровцев, как видно, было кот наплакал: они смылись. Шофер вылез из кювета, случившийся в команде санинструктор перебинтовал грудь; через три километра стрелка с крестом показала налево, на какую-то медицину, и через двадцать минут — на стол!

— Рана удачная, — заключил он. — Навылет и без особых последствий, кроме потери крови. Уже через две недели отправили сюда, в Москву, это говорит само за себя, тем более тебе, медичке. А телеграмму дал, потому что в Москве языка длинные и — чтоб страшней — любят отсчитывать от сердца: еще бы на сантиметр левее или правее — и все, конец! Вот и дал на всякий случай!

— А почему у тебя боли потом были? — спросила Нина. — Пневмоторакс получился?

— Смотри, какая дошла! Нет, миновала чаша сия. А боли были потому, что плеврит. А потом где-то прохватило, мо-

жет, в самолете, пока сюда везли, – кашель, а кашлять мне и до сих пор еще нельзя. И курить нельзя и неизвестно, когда будет «лзя». А очень хочется.

– Еще бы! – Она погладила его по голове, как маленького.

– Слушаю тебя про тетю Аню, – сказал Лопатин, возвращаясь мыслью к старшей сестре. – Не верю, что надо было ее готовить к тому, что я ранен. Не в ее натуре такие нежности.

– Ну и не верь, а я знала, что надо. Она весь день в школе держится и дома, при Андрее Ильиче, держится. А при мне не может. При ком-то же надо? Она тебе письмо со мной прислала, но про себя ничего не пишет, все только про меня, чтоб ты не оставлял меня в Москве: это мне вредно, тем более если ты опять на фронт уедешь, а мама за это время вернется, что я вам не мячик, – и так далее.

– Ты что, читала? – спросил Лопатин.

– Она мне сама дала. Сказала: «Запечатывать непорядочно, а испытывать тебя не собираюсь – на, читай». А я совершенно и не собиралась оставаться в Москве.

Она вынула из старенького школьного портфельчика, с которым пришла, письмо и отдала отцу. Он взял я положил на табуретку под очешник.

– Потом прочту. В Москве оставаться не собираешься, а что ты собираешься?

– Побуду немножко у тебя, вернусь, окончу школу, пойду на курсы сестер – на дневные, потом поработаю еще два-три месяца там же у нас, в Омске, в госпитале – меня обещали

взять. Стану настоящей хирургической сестрой и уйду в армию. А что?

– Ничего, – сказал Лопатин, прикинув, через сколько же все это будет: через месяц окончит школу, потом курсы медсестер и эта практика в госпитале... Значит, к началу будущего – сорок пятого... – Остается только одно – ускорить дело.

– Какое дело? – не поняла она.

– Известно какое! Которое на войне делают. Чтобы такие, как ты, при всем желании на нее не попали. Не успели. Не удивляйся. Не только у вас, и у родителей могут быть дурацкие мечты. У вас одни, у нас – другие. От матери писем не получала?

– Последнее время – нет, – сказала Нина. Она не хотела говорить с ним о матери. – А ты что, против того, чтобы я кончила курсы медсестер и пошла на фронт? Вот уж никак от тебя не ожидала.

– Наверное, нет, не против, – сказал Лопатин, – просто не привык еще к этой мысли. Два года не видел, была маленькая, стала большая. Растерялся.

– Ну да, растерялся! Кто тут у вас растерялся? – входя, спросил Гурский.

– Папа, – сказала Нина.

– Я бы тоже на его месте раст-терялся. Прощался с какой-то тощей козявкой, нос да косички, а теперь одних ног полтора метра. Не красней, д-дурочка, много ног – это хоро-

шо, если только они не за счет головы. Ну и довольно о твоей внешности. Посмотри на меня и зап-помни на всю жизнь, что внешность – дело десятое. А теперь слушайте меня. – Он усмехнулся над собой, но все-таки произнес эту, хорошо знакомую Лопатину фразу, которая значила, что Гурский уже все решил – и за себя, и за других. – Ее план, который она изложила мне п-по дороге, а тебе, очевидно, еще нет, – если тебя не выпишут раньше ее отъезда, жить здесь в госпитале и раб-ботать временной санитаркой. Мой план: в принципе одобрить ее п-план, но внести коррективы. П-посколь-ку она приехала из Сибири, немытая как чушка, я немедленно са-жаю ее в «эмку», где лежат ее скромные, как говорили в таких случаях в старину, п-пожитки, и везу к себе домой, где моя мама, Берта Б-борисовна, кормит ее всем, что у нас есть, моет ее всем, что у нас есть, и кладет спать на двух креслах и одном ст-туле. Д-девочка, запомни на всю жизнь, что за-ик ост-танавливать нельзя, они от этого б-болеют и в конце концов умирают. Завтра утром, как только п-проснется редактор, я объясню ему твое желание, и он позвонит начальнику госпиталя, без которого никто тебя здесь не ост-тавит. Наш редактор – генерал, а генералы обладают даром уб-беждения. Не возражай мне, тут нет ничего неудобного, ты же просишься в санитарки, а не в премьерши ансамбля песни и п-пляски! Твой отец останется здесь и до завтрашнего утра будет думать, что ему с тобой делать д-дальше. А ты поедешь ко мне и будешь до завтрашнего утра есть, мыться и сп-пать

у меня дома, в п-промежутках удовлетворяя нездоровое любопытство моей мамы, Берты Б-борисовны. Лично я сп-способен удовлетворить чье угодно любопытство, кроме маминого. Посмотрим, как с этим сп-правишься ты. Ну, так как? – повернулся он к Лопатину.

– Ты, как всегда, умней всех.

– Спасибо. Мое тщеславие удовлетворено, и мы удаляемся, потому что мне некогда, п-передо-вая есть п-передовая.

Нина, поднявшаяся, когда вошел Гурский, подседа к Лопатину на кровать, поцеловала его и тихо спросила:

– Ты согласен, так все будет правильно?

Он ничего не сказал, только кивнул.

– П-пошли. – Гурский взял за руку Нину и двинулся к дверям, но остановился. – Тебе пришло в редакцию п-письмо от ее матери, и я хотел было вернуться и отдать его тебе втихую, без твоей дочери, но в последний момент уст-тыдился, это было бы не по-товарищески по отношению к ней. – Он отпустил руку Нины, подошел к Лопатину и отдал ему письмо Ксении. Судя по толщине конверта, наверное, длинное. Лопатин посмотрел на дочь, и ему показалось, что она тоже заметила толщину конверта.

– Это она, наверное, тебе про обмен квартиры. Она мне еще три месяца назад написала про это, просила, чтоб я на тебя подействовала.

В голосе ее был недетский холодок.

– П-пошли. – Гурский снова взял ее за руку и потянул за

собой из палаты.

Лопатин положил письмо Ксении на табуретку, туда же, где лежало письмо сестры, и, закрыв глаза, вспомнил дочь маленькой, семилетней, когда они с Ксенией отводили ее первый раз в школу. У нее и тогда были длинные-предлинные ноги, и он дразнил ее жирафой, но она не обижалась: жирафы ей нравились за то, что они быстро бегают. А потом она стала нескладным подростком, у которого все было не так, как хотелось матери.

«Ну почему, почему? – говорила Ксения. – Я во время своих мучений думала только о красивом, а она все больше и больше похожа на тебя».

Родила она легко, едва успев доехать до родильного дома, но, вспоминая роды, всегда повторяла слово «мучения», оно ей нравилось, а то, что ее дочь похожа на Лопатина, – не нравилось, потому что у нее с самого начала все было задумано по-другому: чтобы Нина была похожа на нее и все обращали на это внимание.

А теперь Нина была не похожа ни на кого из них двоих. Вдруг снова появились длинные ноги, только не тогдашние тонкие, как у жеребенка, а стройные и сильные, как у бегуны, и вся стать не материнская – с покатыми плечами и доброй ленью, а какая-то задорная, размашистая. А лицо – как групповой фамильный портрет.

Лопатин усмехнулся. Вся нелепость их семейной жизни с Ксенией, вся их несоединимость друг с другом, словно в насмешку, отпечатались на лице дочки: прекрасные глаза Ксении и между ними его, лопатинский, нос. Да, не повезло девочке с этим носом, хорошо бы не оседлывать его еще и очками, обойтись без этой наследственности. Он уже раз спрашивал ее в письме: как с глазами? Отвечала, что хорошо. Но может быть, все-таки послать ее к окулисту, пока она будет здесь, в госпитале?

А тогда в школу они с Ксенией вели ее за руки, один за одну, другой за другую. И Ксения потом любила вспоминать этот день, а если на нее нападала меланхолия, говорила, что это был последний счастливый день в их семейной жизни.

Это была неправда. Счастливые дни в определенном смысле этого слова были у них и потом, иначе не прожили бы еще семь лет. А счастливых дней в том идеальном смысле, который имела в виду Ксения, уже давно не было и до этого. Просто была запомнившаяся Ксении умильная картинка: папа и мама, держа один за правую руку, другая – за левую, вели дочку в первый класс школы начинать новую жизнь. Вели каждый за свою руку и думали об ее будущем каждый по-своему.

И еще Ксения любила говорить, что ей потому так вспоминается этот день, что он, Лопатин, постепенно лишил ее радости следить за тем, что происходит с девочкой в школе. «Да, – без раскаянья подумал Лопатин. – Сначала и не ду-

мал лишать, а потом как-то само собой постепенно вышло, что лишил. После ее глупых, а в сущности, безнравственных разговоров с учителями все, что было связано со школой, раз и навсегда взял на себя». Да и не так уж это было и трудно. Сладкая возможность говорить об этом как о лишении стала для Ксении привычной и вполне заменила ей то, чего она лишилась.

Он подумал о ее письме, которое ему предстояло прочесть.

Да, конечно, живя с ней, по каким-то пунктам он никогда ей не уступал. Таким пунктом была работа, те, не подлежавшие семейному обсуждению четыре часа в день, когда Ксения могла хоть кулаками стучать в запертую дверь его комнаты, грозя слезами, ссорой, уходом – чем ей заблагорассудится. Таким пунктом были его поездки, иногда далекие и долгие, от которых, уже решившись, он никогда потом не отказывался, хотя перед каждой из них выяснялось, что она не желает оставаться без него одна – вначале это было вполне искренне, впоследствии – вполне неискренне. Но где кончилось одно и началось другое, он затруднился бы ответить.

Третьим пунктом была дочь и то, что он считал ее воспитанием. Оно сводилось к тому, чтобы стараться быть справедливым и не становиться на сторону дочери только потому, что она твоя дочь; знать, что она думает, то есть требовать от нее правды и самому говорить ей правду. Во всяком случае, о себе. В сущности, он хотел, чтобы их дочь стала

им, а не Ксенией. И его жена, хотя и не сразу, поняла это.

Вот, пожалуй, и все пункты, где он стоял на своем, и сколько ни пробовала сдвинуть его Ксения, так и не сдвинула.

А вся остальная их жизнь шла через пень-колоду, в духе полного взаимонепонимания, как пошутил когда-то Гурский, заставший клочок их семейного быта в первое лето войны.

В невеселом старом анекдоте, кончавшемся утренней просьбой женщины: «Ну а теперь скажи мне, что ты меня уважаешь», — было что-то, горько напоминавшее ему его собственную семейную жизнь. Так это бывало и у них — только не просьба, а требование: «Ну а теперь скажи мне, что ты меня уважаешь!» И сколько раз он все исполнял это требование, исполнял уже в ту пору, когда тянуло ответить: нет, не уважаю. Но как после такого ответа жить вместе завтра и послезавтра?

Чем беспощадней он думал сейчас о своей жизни с Ксенией, тем ясней ощущал, что одно из двух — или безнравственно вспоминать так о женщине, с которой прожил пятнадцать лет, или — раз не можешь вспоминать о ней по-другому — значит, безнравственно было жить с ней. Если не с самого начала, то с какого-то дня и часа. Есть что-то непростительно рабское в многолетней власти чужого тела над твоей, чужой этому телу, жизнью.

«Но отлетела от любви душа, а тело жить одно не захоте-

ло», — вспомнил он читанные ему вслух на фронте стихи одного из нынешних молодых поэтов. Вспомнил и усмехнулся простоте решения задачки. В жизни у него вышло потрудней: душа-то отлетела, а тело все-таки захотело жить и дальше, и еще долго и унизительно хотело. Унизительно не потому, что домогался, — нет, этого не было, с этим все, как говорится, было у них хорошо. Но в самом этом «хорошо» было тоже что-то унизительное, какая-то — черт ее знает — игра в жмурки с человеком, на которого потом, развязав глаза, смотришь, как на что-то чужое и несовместимое с тобой.

Мысли были не новые, только более жестокие, чем обычно. Приехавшая сегодня девочка с ее желанием, кончив курсы медсестер, ехать на фронт, была оправданием его стойкости в той прежней семейной жизни. Но рядом с собственной стойкостью собственная слабость казалась еще очевидней. А письмо Ксении, хочешь не хочешь — все равно надо читать, а прочитав его, что-то делать, потому что письмо толстое, а толстые письма она пишет, когда для нее надо что-то сделать.

Скосив глаза на письмо, он бессмысленно представил себе, что Ксении вообще не было. Просто-напросто не было, нет и не будет — ни раньше, ни теперь, ни потом.

Он резко повернулся на койке, чтоб взять письмо, и чуть не вскрикнул: ребро почти срослось, но при каком-то, еще не уловленном до конца, движении давало себя знать — задевало плевру.

Оттягивая необходимость читать письмо Ксении, он сна-

чала взял все-таки письмо от сестры.

«Я рада, что она едет к тебе, она учится хорошо и, если не удержишь ее дольше недели, школу кончит нормально. Не вздумай оставлять ее с собой. Думай о ней, а не о себе. До сих пор тебе это удавалось. Ты будешь уезжать и приезжать, а она – болтаться без тебя в Москве, куда в любой момент может явиться ее мать. Наедине с этой проблемой ей пребывать еще рано. Пусть возвращается, кончает школу и идет на курсы медсестер. Влияние не мое, а хирурга из госпиталя, где она дежурила, но я одобряю. Иногда слышу, что мы, педагоги, до войны как-то не так воспитывали своих учеников. Не уверена в этом. Заранее воспитывать в детях готовность убивать себе подобных не бралась и не берусь. Бралась и берусь воспитывать в них только честь и совесть, которые продиктуют им, как поступать в жизни, в том числе на войне. Столкнулась с людьми, думающими иначе, в том числе с человеком, который при этом считает себя педагогом, а меня пацифисткой. Скажи свое мнение об этом своей дочери. Она склонна считать, что прав он, а не я, потому что он воевал, он инвалид войны, а я невоевавшая и не нюхавшая войны старуха. Что невоевавшая – верно, что не нюхавшая войны – неправда: нюхала и нюхаю ее каждый божий день. Медики не педагоги. Медики всегда правы. Тем более, когда война. Пусть идет в медики. Я за это. Не давать живому делаться мертвым – самая бесспорная профессия. Письмо дам прочесть твоей дочери. Обо всем этом с нею не раз говоре-

но. Мой Андрей Ильич шлет тебе привет, он, к сожалению, плох. Нина объяснит тебе. Будь здоров. Анна».

Интересно, кто этот инвалид войны из педагогов, не новый ли директор их школы, с которым Анна Николаевна уже успела схлестнуться? Лопатин вспомнил, как вскоре после его женитьбы Анна Николаевна, остановившись у них в Москве, вечером выслушала первую исповедь Ксении, а утром съехала от них к своим знакомым.

Ксения плакала и говорила, что ни в чем не виновата и ничего не понимает.

Лопатин поехал объясняться с сестрой, которая заявила ему, что нежелание его жены разобраться в собственных чувствах, прежде чем вываливать их на первого попавшегося родственника, есть не что иное, как привычка жить за чужой счет, – не за счет чужого кармана, а за счет чужой души, что еще хуже.

Выслушав это, Лопатин спросил ее: «А что ты сказала Ксении?» – «Сказала, что я дура, неспособная выдерживать рассказы жен об их отношениях с их мужьями. И она с сожалением посмотрела на меня как на действительную дуру, которая лишает себя в жизни самого интересного. А тебе скажу другое: думаю, что вы с ней – люди, живущие по разным духовным законам, и тебе предстоит одно из двух: или найти в себе силы и заставить ее жить по твоим духовным законам, или поднять руки вверх. Что-нибудь третье вряд ли возможно!»

Тут она ошиблась. Вышло как раз третье. Ксения продолжала жить по своим духовным законам, а он – по своим. Другой вопрос, что его старшая сестра не считала это жизнью.

Нет, судя по ее письму, тетка не так уж сдала, как показалось племяннице. Может быть, девочке било в глаза несоответствие между силой духа и слабостью плоти и у нее появилось материнское чувство по отношению к больной старухе? Перед соблазном побольше взять на себя сильные натуры беззащитней слабых.

Да, сильная. Так ему казалось по некоторым письмам дочери, показалось и сегодня. Хотя война перетолкла на его глазах в одной ступке все поколения, все-таки хуже всего он знал тех, кому сегодня еще нет полных семнадцати, тех, которые в большинстве своем еще не были и, дай бог, не будут на войне! Как увидеть и понять войну их глазами? Что-то он уже понял из ее писем, пришедших за эти годы из Сибири; что-то, но далеко не все. Там, на дежурствах в госпиталях, главным звуком войны для этих девочек был стон раненого. Салюты – это по радио. А ночью в палате – стон и бормотанье, вопли боли, клекотанье предсмертной пены в горле. И, слыша этот, именно этот звук войны, все-таки решение – на курсы сестер, а потом – на фронт. Так что же там, внутри, под этой решимостью? Жажда участия в чем-то самом-самом трудном и самом-самом страшном, последствия которого – все эти костыли, культы, дренажи, гной, перевязки с отмачиванием, со скрипом зубов? Боязнь разминуться,

пусть с самым тяжелым, но и с самым главным в жизни, не пропустить его? Или просто желание быть не хуже отца и там, где он? Или, наконец, какой-то уехавший на фронт добровольцем мальчик, провожая которого поклялась оказаться там же, где он, и верит, что это возможно? Война идет уже скоро три года, а представления, какая она на самом деле и как мало на ней зависит от собственного выбора, все еще нет...

– Василий Николаевич, в шахматы не сыграете?

Лопатин открыл глаза. Оказывается, он, задумавшись, так и полусидел на койке с закрытыми глазами, словно это помогало лучше взглядеться в душу дочери.

Над ним, держа под мышкой шахматную доску, стоял вернувшийся после долгого перекура капитан.

– Нет, Миша, сейчас не сыграем. У меня еще почта не дочитана. – Лопатин взял с табуретки письмо Ксении и кивнул на продолжавшего похрапывать под одеялом соседа. – Сыграйте с полковником, ему пора и побудку объявить.

– Мне с ним неинтересно, – сказал капитан. – Я ему фору даю, а вы меня, как фриц в сорок первом, бьете и бьете; закаляете мою волю к победе.

– Коли так, на ночь глядя сыграем партию. Закалять, конечно, закаляю, но до выписки побед надо мной не ждите. Когда у вас комиссия?

– Сейчас сказали, как и у вас, через три-четыре дня.

– Тем более. Перелома в наших с вами военных действиях не произойдет.

– Не думал тогда о вас в Крыму, что вы так сильно в шахматы играете, – сказал капитан.

– Не думали, потому что я казался вам старым, не способным ни на что лопухом, а вы мне – нахальным адъютан-

тиком. Только потом, когда везли Пантелеева и вы над ним полдороги проплакали, понял, что вы – другой, чем сначала подумал.

– А я часто вспоминаю Пантелеева, – сказал капитан. – Особенно этой весной, когда Крым обратно брали, часто думал – как его нам теперь не хватает.

– А не приходило вам в голову, как ему тогда не хватало вас, теперешних? С вами, с теперешними, Крыма-то, наверное, не сдали бы! А с вами, с тогдашними, пришлось сдать. А как было сделать, чтобы все мы, с самого начала войны, оказались, не тогдашними, а нынешними, не берусь ответить. Хотя иногда фантазирую – пересаживаю на машине времени всех нас с нашим нынешним опытом обратно, в начало войны, – и не сдаю немцам Крыма. Да и многого другого.

– В шахматы и то обратно ходов не берут. А на войне тем более, – сказал капитан. – Раз не будете со мной играть, пойду в коридор, кого-нибудь поймаю. – И, уже направляясь к дверям, спросил: – А ваша дочь в шахматы играет?

– В письмах не сообщала, но все возможно. Завтра спросите сами.

– С вашего разрешения, спрошу.

– Можно и без разрешения.

– Смотрите, Василий Николаевич, я ведь неженатый.

– Спасибо, что напомнили, теперь буду следить в оба, – улыбнулся Лопатин, с запоздалым удивлением подумав, что его дочери – семнадцать и для нее, как это ни странно, уже

может иметь значение – женат или не женат этот двадцатипятилетний гвардии капитан Велихов с его тремя пулевыми ранениями и с его тремя орденами и Золотой звездочкой в несгораемом ящике в канцелярии госпиталя.

Десять дней назад он явился из другой палаты в эту, с костыликом и шахматной доской под мышкой.

– Товарищи офицеры, разрешите обратиться. Тут сестричка мне доложила, что кто-то из вас имеет не то первую, не то вторую категорию по шахматам.

– Насчет второй не знаю, первую когда-то имел я, – сказал Лопатин. – А вы?

– А я уж было за вторую зацепился, но война помешала. Сыграем?

– Сыграем, – ответил Лопатин и, пока, сев на табуретку и прислонив к стене костылик, капитан расставлял шахматы, внимательно смотрел на него. Этого человека Лопатин где-то видел. Но что-то мешало узнать его: то ли выбоина под глазом в скуле, придававшая странную асимметрию его пригожему лицу, то ли халат и костыль, то ли фронтальная бровь, то ли повадка и хрипотца голоса, не совпадавшие с мелькнувшим в голове воспоминанием. И только когда капитан протянул на выбор зажатые в кулаках пешки, совсем близко увидев его молодые, намного моложе остального лица глаза, Лопатин вдруг и сразу вспомнил все.

– Скажите, Велихов, я не ошибаюсь, это действительно вы? – спросил он, хотя уже знал, что не ошибся.

И, достав из-под подушки, надел очки, которые иногда снимал, потому что устаешь целыми днями лежать в очках.

– Вот теперь и я бы сразу вас узнал, – обалдело сказал Велихов. И долго, и осторожно тряс ему руку.

Да, как ни странно, это был все тот же Велихов, ставший из свежеиспеченного адъютанта при большом начальстве командиром стрелкового батальона в той же самой своей, некогда Особой Крымской, армии, в сорок первом отдавшей, а теперь, в сорок четвертом, обратно взявшей все тот же самый Симферополь.

Там, в третий раз за войну, тринадцатого апреля этого года он был ранен в ногу, на той самой улице, по которой они в сорок первом ночью везли убитого Пантелеева. Где и как был ранен – рассказал в первый же день, а что, ворвавшись в Симферополь в голову своего батальона, получил за это Золотую звездочку – только на третий, объясняя, почему он, капитан, попал в эти палаты для старших офицеров, где по большей части лежат от майора и выше. Было в этом нынешнем Велихове что-то заядлое, когда он говорил о войне. Беспощадно ругал себя и других за все, что в разное время не смогли или не сумели, хотя был не дурак и понимал, что войне за один день не научишься. И в шахматы тоже играл заядло, холодея от страсти и упрямо веря, что в конце концов хоть одну партию, а выиграет. И хотя ему оставалось до выписки всего несколько дней, но чтобы наиграться до упаду, добился своего и перевелся вчера к Лопатину на освобо-

дившееся место. И была в его страсти к шахматам не только любовь к самой игре, а еще и какая-то сила заведенной на всю войну пружины.

И жалко было сейчас отказать и не сыграть с ним партию, и не так уж хотелось читать толстое письмо Ксении. Но надо было заставить себя и прочесть.

Письмо Ксении начиналось просьбой никуда не уезжать. «Я сначала ужасно переволновалась за тебя, когда узнала, Впрочем, думаю, ты все понял из моей телеграммы».

Из ее телеграммы он понял, что она со старанием сочинялась и, наверное, не раз читалась по черновику знакомым. В телеграмме было написано, что, как бы ни складывались их отношения, она всегда беспокоилась за него и всегда молила и будет молить бога, чтоб он остался жив и невредим. В бога она не верила, но «молить бога» было сейчас модно, во всяком случае, среди актрис – вот она и молила.

Теперь в письме предполагалось, что он уже успел выздороветь и готов снова ехать на фронт, но не должен делать этого, пока она не приедет в Москву. «Дождись меня, потому что дело, из-за которого я приеду, слишком важное для нас обоих». Слишком важное для них обоих дело сводилось к тому, что он должен теперь же заняться вместе с нею обменом квартиры. Ему предстояло вселить к себе – в две комнаты из трех – каких-то людей, которые жили в одной квартире с ее нынешним мужем, – у него в Москве была не квартира, как она раньше говорила, а комната, – а Ксения должна была,

получив взамен две комнаты этих людей, съехаться со своим нынешним мужем и жить с ним, как она выражалась, в человеческих условиях. Оказывается, накануне отправки этого письма ее нынешний муж вернулся из Москвы, куда летал по делам, связанным с возвращением их театра, и она написала ему на бумажке все, о чем ему надо поговорить с Лопатиным. Как мужчине с женщиной, в связи с предстоящим квартирным обменом, но: «...узнав, что хотя ты и выздоравливаешь, но все еще лежишь в госпитале, Евгений Алексеевич из-за своей щепетильности не захотел тебя беспокоить. А я приеду и побеспокою, уж такая моя доля». В том, как она об этом писала, чувствовалась досада на излишнюю щепетильность ее Евгения Алексеевича.

Как следовало из дальнейших объяснений, она считала, что Лопатин должен ей помочь, потому что это нужно для ее счастья с ее новым мужем и для счастья ее дочери.

По началу письма Лопатину казалось, что Ксения вообще забыла об их дочери, которой тоже предстоит где-то жить. Но нет, оказывается, все-таки вспомнила.

«Не знаю, может быть, после войны мы с тобой будем уже не нужны ей, может быть, она полюбит кого-то и выйдет замуж». Прочитав это, Лопатин усмехнулся: «Коли негде жить, так, конечно, лучше всего замуж, да поскорее». «А если нет, – писала Ксения, – если я еще буду ей нужна, то я всегда приму ее к себе, где бы и как бы я ни жила, пусть хоть в одной комнате, пусть хоть сидит у меня на голове, все рав-

но сделаю это без колебаний, потому что мать есть мать».

«А почему в одной комнате и почему на голове? – с вдруг вспыхнувшим раздражением подумал Лопатин. – Почему на голове, когда она собирается меняться и жить вдвоем со своим теперешним мужем в трех комнатах? Почему на голове? Потому что ей, матери, так и не пришла в голову самая естественная мысль, что одна из трех комнат, которые, к их великому и не частому в Москве счастью, были у них троих до войны, – это комната ее дочери, из которой ее дочь может захотеть и не захотеть уехать».

Да, конечно, она и не злая, и не жадная, и не грубая, и если на нее найдет соответствующий стих, то может, тем более у кого-нибудь на глазах, неделю смиренно ходить на цыпочках, заплетать косички, поить в кровати молоком и, пока не надоест, играть в дочки-матери. Играть – да! Но написать про себя «мать есть мать»?

Лопатин вспомнил исхудалую, маленькую, как ребенок, казахскую старуху, которую он видел в поезде, когда полтора года назад зимой ехал в Ташкент. Она была такая маленькая, что почти не верилось, что ехавшие с нею две рослые женщины – обе от нее, и шестнадцатилетний мальчик, высокий, выше нее на голову, самый младший ее сын, – тоже от нее, и набившиеся все вместе в одно купе – еще три девочки и два мальчика – внуки и внуки – тоже от нее, что вся эта семья – от нее. Глядя на нее тогда, он подумал, что она отдала им все, что все они – здоровые, крепкие – вышли из нее,

и поэтому она и осталась вот такая маленькая, исхудавшая, без живота, без груди, почти без тела; и все, что у нее еще было, — лишь остаток того, что она отдала им, почти ничего не оставив себе. Он даже записал тогда эту, поразившую его, мысль о жертвенности материнства, на которую натолкнулся среди войны. Тогда записал, а сейчас вспомнил, подумав о Ксении. «Мать есть мать». Какая ты ей мать, хотя ты ее и родила и даже почти два месяца кормила сама, пока не появилась одна из твоих кукушек-подруг и не убедила за один присест, что ты испортишь этим грудь...

Все эти, всколыхнувшие прошлое, мысли надо оставить при себе, но об остальном, о сути письма, придется говорить с дочерью, и хорошо, что она приехала.

Хотя письмо Ксении, особенно под конец, рассердило Лопатина, в практическом смысле она по-своему была права. Война идет три года, и неизвестно, сколько еще продлится, он жив, дочь выросла, его бывшая жена вышла замуж и собирается вместе с мужем и театром вернуться из эвакуации в Москву, стало быть, следует, не откладывая до конца войны, определиться: кто, где и как намерен жить дальше.

В последнее время московский быт Лопатина складывался между поездками на фронт не совсем так, как ему думалось весной сорок второго года, когда он, давая вольную жене, сказал, что их московская квартира будет не нужна ему до конца войны. Она уже давно была нужна ему, не до зарезу, но нужна. На казарменном положении в редакции уже дав-

но никто не жил; в гостинице «Москва», где когда-то на шестом этаже ютились корреспонденты, теперь москвичей уже не селили. В последние два своих приезда с фронта, осенью и зимой, он жил у Гурского, который еще не привез тогда из эвакуации мать. Короче говоря, выйдя из госпиталя, после которого сразу на фронт не пошлют, жить в Москве будет негде, хотя придется где-то сидеть и писать – и обещанный редактору рассказ, и никому, кроме себя, не обещанные дневники, запущенные из-за ранения и из-за того, что уже полтора месяца, никогда не оставаясь один, лежишь между кем-то и кем-то. Ему хотелось вернуться домой, в свой кабинет, спать там на своей привычной тахте и скрипеть перышком за своим привычным столом. И плевать он хотел на все остальное! Горечь давно успела превратиться в оскоми-ну, а с оскоминой жить можно. В последний год от возвращения в квартиру его удерживали только собственные слова, когда-то сказанные Ксении. Он не привык неаккуратно обращаться со словами.

Сегодняшнее письмо Ксении при всех его глупых подробностях упрощало дело. Как быть с остальным, следовало подумать, но явится Ксения или не явится, уедет или не уедет он на фронт до ее появления в Москве, чтобы перебраться из госпиталя домой, в свой собственный кабинет, не оставалось никаких, самому себе придуманных препятствий.

Сосед справа, полковник-артиллерист, уже не спал и, сидя на койке, прилаживался, как понадежнее стать на косты-

ли – собирався вийти. Он так же, как и Велихов, был ранен в ногу, но потяжелее.

– Долго же вы спали, – сказал ему Лопатин.

– А что еще делать, когда войны нет? – Полковник, прилядывая к костылям, встал на них. – Пошкандыбаю, разведваю, где лежит командир нашего батальона связи, некто Трофимов, подполковник. Не встречались с ним, когда бывали у нас в армии?

– Нет, – сказал Лопатин.

С подполковником Трофимовым он не встречался, так же как и с этим полковником-артиллеристом, так же как и с тысячами других людей, составлявших ту армию, в которой он бывал. Сколько ни пробудь даже в одной и той же армии, все узнанное там – лишь крупница неузнанного.

– Интересно понять, где теперь, после Крыма, наша армия, – сказал полковник. – Из одного письма усмотрел, что на Белорусских фронтах. Приезжай, пишут, поправляйся. Дышим самыми полезными для здоровья запахами: елкой и березой. Намекнули, что не кипарисами.

Полковник проковылял из палаты в коридор, а Лопатин подумал, что хорошо бы, когда начнется летнее наступление, угадать именно в их армию, которая дышит теперь елкой и березой. Тех, кто остается жив, война чем дальше идет, тем чаще возвращает к прошлому. И не такая уж случайность, что здесь, в госпитале, оба твоих соседа из двух армий, в которых бывал раньше. Когда на всех других фронтах уже

затихало, самые последние и жестокие весенние бои вели в Крыму как раз обе эти армии, и та, из которой полковник, и та, из которой Велихов, и если обойти госпиталь, наверное, каждый третий долечивающий раны офицер сейчас оттуда, из Крыма.

Все, о чем он думал сегодня после встречи с дочерью, вышибло его из привычной колеи войны, а мысли, пришедшие сейчас, вновь вернули – туда. Да, еще последний день весны, еще не лето, – он оглядел палату, где вольготно стояли всего три койки и куда при нужде можно воткнуть еще три.

«И воткнут! Начнется наступление и – как только начнется – набьют до отказа все госпиталя и легкими, и тяжелыми, и безнадежными...»

Он, сам не желая того, вдруг вспомнил свой первый разговор с той женщиной, о которой уже давно старался не думать, – разговор об ее отце и о госпитале для безнадежных.

На следующее утро, сразу после выхода газеты, приехал невыспавшийся редактор, не заходя к Лопатину, поговорил и с главным и с лечащим врачом и все перевернул по-своему.

– Тоже мне, придумали с Гурским – две умных головы – ерунду какую-то, – вместо приветствия сказал он. – Я не для того твою дочь из Сибири вызывал, чтоб в санитарки при-страивать.

– А ты бы меня спросил, прежде чем вызывать.

– А чего тебя спрашивать? Не рад, что ли?

– Рад.

– А если рад, поезжай и живи с ней у себя на квартире. Ключи твои, которые у нас в АХО лежали, велел отдать ей.

– А мне когда прикажете отбыть на квартиру, товарищ генерал? – спросил Лопатин.

– Тебе через три-четыре дня. Я уже договорился. Последние рентгены и прочее сделают и отпустят. А она, чем тут горшки носить, пусть пока там уберется. Небось у тебя там – хлев!

– Кто его знает, – пожал плечами Лопатин. Прошлым летом, когда он был на фронте, Ксения, не застав его в Москве, завезла ему в редакцию сделанные ею вторые ключи и записку, – что прибрала квартиру. Так что квартира была убрана. Но произошло это без малого год назад. И как убрана, неиз-

вестно.

– Дочь приберет, и переедешь, – сказал редактор. – Захочешь оставить ее у себя в Москве – оставишь. Надо будет что-то сделать для этого – сделаем. Врачи отпускают тебя с условием пока не выходить. На это время харчей подкинем. Да и коммерческие магазины работают, а деньги у тебя, как я понимаю, раз книга вышла, есть.

Лопатин рассмеялся. Редактор и Гурский, с их любовью решать за других, были два сапога пара!

– Подумал, как бы ты мною командовал не в редакции, а где-нибудь на фронте. Интересно!

– Если пошлют на фронт, могу к себе вызвать. Там увидишь, интересно или неинтересно. А пока берись за рассказ. Еще не начал?

– Пока нет.

– Тем более. Поезжай домой и берись! На фронте тишина, а в газете пусто. Самое время для рассказа на пять-шесть подвалов, с продолжениями. А то, пока рассусоливаешь, начнутся события, все полосы забьют, и рад бы – да некуда!

Редактор наморщил лоб, силясь вспомнить что-то еще, что нужно было сказать Лопатину, и, помолчав, все-таки вспомнил:

– Как себя чувствуешь?

– Со вчерашнего дня совсем хорошо. Спасибо, что дал возможность увидеть дочь. Хорошо понимаю, насколько это

недоступно для девятиности девяти из ста оказавшихся в моем положении. И она тоже понимает. Так что спасибо от нас обоих.

– «Спасибо» на полосу не поставишь, – сказал редактор. – Нужен рассказ. Раз не можешь его тут начать, хотя бы подумай над ним в оставшиеся три дня.

На том и расстались. А ровно через трое суток после этого Лопатин вместе с дочерью ехал из госпиталя к себе на квартиру, в которой, считая с внезапного приезда и такого же внезапного отъезда Ксении в декабре сорок первого, не был два с половиной года. Странное это было чувство, чем-то похожее на возвращение с войны. Привык к мысли, что не вернется в свою квартиру до конца войны. А теперь выходило так, словно не дотерпел.

В госпиталь его привезли лежащего, на санитарной машине. Сквозь проливной дождь тогда не было видно ничего, кроме крыш и верхних этажей домов. А сейчас ехал сидя рядом с дочерью в «эмке», правда, с закрытыми стеклами, чтобы не простудиться после плеврита. Но за этими стеклами Москва была летняя, теплая, женщины шли в платьях и без чулок, – то ли радовались нахлынувшему вдруг лету, то ли хотели сберечь чулки до осени. Где их сейчас возьмешь, чулки?

За эти три дня он мало видел дочь. И когда она по вечерам, замаянная уборкой, добиралась к нему в госпиталь, поскорей гнал ее обратно – спать, откладывая предстоящие се-

рьзные разговоры на потом, когда окажутся дома.

И сейчас, пока ехали через Москву, говорили о сегодняшнем, житейском.

– В коридоре и на кухне, где крашенные полы, совсем хорошо отмылось, – говорила дочь. – А в комнатах паркет – никак не оттирается, сколько ни мыла. Кухонным ножом скребла, все равно черный! И много паркетин совсем повылетало. Василий Иванович вчера помогал мне, прибивал.

– Конечно, повылетало, – не оборачиваясь к ним, сказал водитель. – Два лета взаперти пересыхал. А из трех зим, только эту, можно считать, топили, вот и повылетало.

– Спасибо, – сказал Лопатин.

– Не за что, – по-прежнему не поворачиваясь, сказал Василий Иванович. – Вижу – старается, а не умеет.

Василия Ивановича Лопатин знал еще с финской, где он возил на «эмке» редактора... А в эту войну, когда у редактора появился ЗИС, по Москве на ЗИСе его не возил. Остался при своей чиненой-перечиненой, но всегда исправной «эмочке» и возил на ней на фронты то редактора, то корреспондентов. Был он человек хмурый и немолодой, ездил на бронев автомобиле еще в первую мировую и к Лопатину, как к своему ровеснику, относился снисходительней, чем к другим. Слово «старается», сказанное им про дочь Лопатина, означало высшее одобрение.

Но Нина, не понимая его характера, – оправдывалась, что там, в Омске, – и дома у тетки, и в госпитале – полы всюду

крашенные, и она их умеет мыть так, чтоб и чистые были, и в щели не затекало, а здесь, с паркетом, ничего не вышло.

— А в кранах такая ржавая вода, — говорила она, — еле потерпела, пока ржавчину спустила: воды-то жалко.

И Лопатин вспомнил, что там, в Омске, у сестры они таскали воду ведрами из колонки.

Доехав до дому и поблагодарив Василия Ивановича, Лопатин стал вместе с дочерью подниматься к себе. По этой же лестнице два года назад, проводив Ксению до дверей и так и не зайдя с нею в квартиру, он спускался вниз, а она глядела ему вслед.

Отобрав у отца, Нина сама волокла вверх по лестнице тяжелый чемодан. Там, в госпитале, она еле-еле запихнула в него, поверх еще отдававшего дезинфекцией обмундирования, все книги, за месяц притащенные отцу Гурским.

Лопатин впервые с начала войны возвращался домой в штатском костюме, который дочь, вычищенный и выглаженный, привезла ему в госпиталь вместе с рубашкой, бельем, ботинками и шляпой. Костюм оказался впору, и Лопатину было даже приятно, что война ничего с ним не сделала — и не усох, и не раздался — такой же, каким был. Только странно, что все лежит не там, где привык, — пистолет в заднем кармане брюк, а не на ремне; очешник с запасными очками — не в правом нагрудном кармане гимнастерки, как всегда, а в пиджаке, в боковом; документы не в левом нагрудном, а во внутреннем пиджачном.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.